

УДК 882 Жуковский
DOI 10.17223/19986645/18/8

А.С. Янушкевич

ЭПИСТОЛЯРИЙ В.А. ЖУКОВСКОГО КАК ОТРАЖЕНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО БЫТА ЕГО ВРЕМЕНИ¹

Статья посвящена рассмотрению эпистолярного наследия В.А. Жуковского в аспекте коммуникативных стратегий поэта и как характеристика его «поведенческого текста», что позволяет увидеть связь эпистолярия Жуковского с литературным бытом его времени.

Ключевые слова: эпистолярный, философия житиетворчества, литературный быт.

...Полная по возможности переписка Жуковского <...> будет служить прекрасным дополнением к литературным трудам его. Вместе с тем будет она прекрасным комментарием его жизни...

П.А. Вяземский

I

Трудно представить более благодатный материал для характеристики литературного быта эпохи, чем письма писателей, тем более тех, кто определял дух времени и его тенденции. Именно в письмах, не предназначенных для постороннего глаза или, наоборот, ориентированных на коллективное чтение единомышленников, адресант говорил откровенно о том, что имплицитно присутствовало в его творчестве. Эстетические, этико-философские, историософские проблемы в эпистолярии получали домашнюю прописку, «интимизировались», становились органической частью литературного быта, в них наиболее концентрированно выявлялась философия житиетворчества, когда не просто «Жизнь и Поэзия – одно», но когда эти сферы бытия художника были заодно в поисках особого стиля.

В.А. Жуковский любил повторять известные слова Бюффона: «Стиль – это человек». По мнению поэта, письма в особенной степени формируют этот стиль и проявляют человеческую и творческую индивидуальность. В письме к совсем еще юному (тринадцатилетнему) великому князю Константину Николаевичу от 17 ноября 1840 г. он, советуя ему вырабатывать «навык письма» и анализируя его эпистолярные послания, замечает: «Знаете ли, что такое слог? Я здесь повторю слова знаменитого Бюффона; он говорит: *слог есть человек*. Это совершенная истина: человек на бумаге такой же точно, каков он есть в самой жизни...» [1. С. 342].

Письма Жуковского в этом смысле – отражение его личности, но одновременно и летопись литературной жизни его времени, эпохи 1800–1840-х гг. «Любовь к правде» [1. С. 342] Жуковский считал важнейшим

¹ Статья подготовлена при поддержке гранта Министерства образования РФ (программа ФЦП № 14.740.11.0230).

качеством эпистолярия и всякого словесного творчества вообще, так как не разделял «слова» и «дела» поэта. Именно поэтому в своих письмах он и стал честным летописцем нравов и обычаев литературной борьбы, трагической судьбы Пушкина и всего того, что можно выразить одним понятием – литературный быт, где бытовое не отменяет бытийное, а позволяет увидеть литературный процесс, творчество «домашним образом», через те детали, подробности, мелочи, которые скрыты от публики.

Издание Полного собрания сочинений и писем Жуковского в 20 томах, работу над которым продолжают филологи Томского государственного университета, позволило не только расширить представление об эпистолярном наследии первого русского романтика (на сегодняшний день выявлено более 2000 писем, в том числе более 200 неопубликованных), но и увидеть в них, создававшихся на протяжении почти 60 лет (первые датированы еще 1795 г.; последние относятся к 1852 г. – году смерти поэта) [2. С. 164–166; 3. С. 80–89], характерные черты литературного быта той эпохи, которая связана с рубежом веков и сентиментальной культурой, с деятельностью Карамзина, с судьбой русского романтизма, с «золотым веком» русской поэзии и гением Пушкина, с творчеством Лермонтова и Тютчева, с эпохой «гражданской экзальтации» и николаевского царствования.

Становление Жуковского как творческой личности происходит на рубеже веков в атмосфере масонской идеологии, носителями которой были его наставники в Московском университетском пансионе (И.П. Тургенев, И.В. Лопухин, А.А. Прокопович-Антонский), философии и эстетики сентиментализма, ярчайших представителей которого, Н.М. Карамзина и И.И. Дмитриева, он считал своими учителями. Проблема «внутреннего человека», практической реализацией которой стала теория нравственного самоусовершенствования, нагляднее всего проявилась в франклиновом дневнике молодого Жуковского [4. С. 37–40]. Но с этим «человеческим документом» корреспондируют и в определенной степени его дополняют письма Жуковского к его душевному другу Александру Ивановичу Тургеневу. Именно в них обозначаются такие характерные черты литературного быта 1800–1810-х гг., как энтузиазм, культ дружбы, идеи самоусовершенствования и «внутреннего человека», теория деятельности и филантропии.

Мой план пробыть в Геттингене, учиться; еще год в Париже, также учиться; потом год ездить по Европе; если ж обстоятельства не позволят, то все время посвятить ученью. Путешествие будет для меня важным делом, особливо если удастся поездить вместе с Мерзляковым. Возвратясь, посвящу себя совершенно литературе. Надобно сделаться человеком, надобно прожить не даром, с пользою, как можно лучше. Эта мысль меня оживляет, брат! Я нынче гораздо сильнее чувствую, что я не должен пресмыкаться в этой жизни; что должен возвысить, образовать свою душу и сделать все, что могу, для других. <...> Ах, брат, не надобно терять друг друга из виду, не надобно оставлять друг друга! Будем взаимно подавать друг другу помощь!»; «Как можно должно стараться поддерживать в себе энтузиазм наш, которым

мы в старину, в счастливое время нашего Собрания, были оживлены гораздо более...»; «И теперь немного деятельности, но по крайней мере вижу необходимость быть выше; для этого требую помощи от друзей моих. Братцы, вместе, вместе пойдем ко всему доброму! Это говорит вам не энтузиазм ребяческой и огненной, но холодное размышление»; «Но, братцы, мы можем быть друг для друга многим, очень многим, всем, со временем, разумеется, не вдруг! Для чего же и жить, как не для усовершенствования своего духа всем тем, что есть высокого и великого? <...> Будем же друзьями, то есть верными товарищами на пути к добру! [5. С. 4, 6, 7, 15].

Все эти фрагменты из писем Жуковского к А.И. Тургеневу от августа–сентября 1805 г. – красноречивое свидетельство того, как в недрах «русского штурмерства» формировалась идеология духовного братства, предвосхищающая феномен лицейского и арзамасского братства.

Из недр Дружеского литературного общества (1801), как залог памяти о рано умершем Андрее Тургеневе, Жуковский в письмах, обращенных к его брату, но имеющих в виду коллективного адресата, воспекает энтузиазм дружбы и творческого вдохновения.

Не менее важны в пространстве его эпистолярия 1800–1810-х гг. мотивы самоусовершенствования и активной деятельности. Молодой Жуковский последовательно и системно рассматривает себя и своих друзей сквозь призму практических уроков И.П. Тургенева, изложенных в его книге «Познание самого себя», трактатов И.В. Лопухина «О внутренней церкви...» и «Духовный рыцарь». Он пытается сформулировать программу «внутреннего человека» не столько как теоретическую абстракцию, сколько в соотношении с практической деятельностью. Его стремление объединить друзей, создать союз единомышленников, планы совместной учебы в Германии, творческие замыслы, журнальные проекты, постоянный поиск книг для самообразования – звенья единой цепи. В преддверии «Арзамаса» он вырабатывает идеологию «школы совместного образования», стягивает силы будущих «гениев “Арзамаса”».

Ранние письма Жуковского 1800–1810-х гг. (к сожалению, их сохранилось не так уж много) – отражение черт нового литературного быта, когда консолидация литературных сил опиралась на прочный фундамент духовного братства, когда происходило становление нового человеческого типа, когда накануне Отечественной войны 1812 г. литературный быт отчетливо проявлял черты национального самосознания. Постоянный интерес Жуковского к русским летописям, замысел исторической поэмы «Владимир», а затем переложение «Слова о полку Игореве», участие в Отечественной войне и создание «Певца во стане русских воинов» – за всем этим стоит сознательный и уже в 1805–1810 гг. неиссякаемый интерес к истории (см.: [6. С. 400–465]). В письме к А.И. Тургеневу от декабря 1806 г. по случаю манифеста 30 ноября 1806 г. об образовании ополчения в связи с антинаполеоновской кампанией Жуковский сквозным словом делает понятие «отечество»: «...мы все должны думать об *отечестве*»; «...эти стихи («Песнь барда над гробом славян победителей». – А.Я.) новый дар *оте-честву*»; «...об отношениях гражданина к *отечеству*» [5. С. 24–25].

Естественным следствием этого энтузиазма и стало «чувство Истории», «дух Истории». 7 ноября 1810 г. поэт констатирует: «История из всех наук самая важная; важнее философии, ибо в ней заключена лучшая философия, то есть практическая, следовательно, полезная. Для литератора и поэта история необходимее всякой другой науки: она возвышает душу, расширяет понятие и предохраняет от излишней мечтательности, обращая ум на существенное» [5. С. 75]. В литературный быт история входит как составная часть мышления вообще, творческой мысли в особенности. «История государства Российского» Карамзина, чтение глав из которой входит в литературный быт будущих арзамасцев, стала катализатором этого процесса, но его первые ростки уже отчетливо обозначились в среде карамзинистов как форма рефлексии.

«Спешите делать добро!» – этот девиз и руководство к действию поздних московских масонов оказался «поведенческим текстом» всей жизни Жуковского. Список «униженных и оскорбленных», которых он спас от ссылки, устроил на службу, которым помог материально, неисчерпаем. Сначала через друзей (А. Тургенева, Д. Дашкова, С. Уварова, Д. Блудова), а затем опираясь на поддержку царственных особ, он превратил филантропическую деятельность в органическую часть литературного быта, формируя общественное мнение и наполняя литературу идеалами гуманизма и всечеловеческой отзывчивости.

Достаточно восстановить во всей полноте его деяния в защиту Т. Шевченко, родственников А.В. Никитенко, находившихся в крепостной неволе, организацию кампании по изданию посмертных сочинений И.И. Козлова и А.С. Пушкина, чтобы увидеть, как Жуковский мог объединять вокруг добрых дел самых разных людей, связанных с русской культурой. Именно письма поэта, часто не опубликованные из-за предубеждения к «мелочам», таят любопытный и показательный материал для характеристики гуманистических тенденций русского литературного быта России, пропагандистом и защитником которых был Жуковский. К.Н. Батюшков не случайно называл его «рыцарем на поле нравственности и словесности» [7. С. 325], а П.А. Вяземский замечал, обращаясь к самому Жуковскому: «У тебя тройным булатом грудь вооружена, когда нужно идти на приступ для доброго дела» [8. Стб. 3852].

Говоря о филантропической деятельности поздних московских масонов, Н.А. Бердяев связывал с ней «эпоху разрыхления русской души», когда она «стала восприимчивой ко всякого рода идеям, к духовным и социальным движениям», когда «начала образовываться русская всечеловечность, характерная для XIX века» [9. С. 20]. Продолжателем этой традиции в русском литературном быте стал Жуковский. В его письмах, обращенных к сильным мира сего и взывающих о помощи, – выражение самосознания русского литературного быта, внедрение в сознание культурного сообщества идей любви к ближнему и сострадания. Антикрепостнический подтекст выступлений виднейших деятелей русского общественного сознания 1810–1820-х гг. – отражение той целенаправленной гуманистической программы, которая стала «поведенческим текстом» и творческим кредо Жуковского.

II

А.Н. Веселовский точно определил пафос поэзии Жуковского как «поэзии чувства и сердечного воображения» [10]. В этом смысле его эпистолярный, прежде всего письма, обращенные к Маше Протасовой, переводил эти «осердеченные идеи» в сферу литературного быта. История драматичной любви Жуковского нашла свое отражение в автопсихологической лирике поэта-романтика. Друзья поэта, посвященные в эту человеческую драму, почувствовали автобиографический подтекст поэтических подборок и баллад, опубликованных в «Вестнике Европы».

Письма-дневники Жуковского 1814–1815 гг., обращенные к Маше Протасовой, были недоступны для чужого глаза. Их переписка глубоко интимна, но она репрезентативна для истории русской культуры вообще, для истории литературного быта в частности. Именно в ней происходило формирование особой философии Вечной Женственности, создавался культ Прекрасной Дамы. Частное становилось общезначимым: «духовный рыцарь», переводчик флориановской переделки «Дон Кихота», автор рыцарских баллад, Жуковский формировал особую мифологию жертвенной любви, востребованную последующей русской культурой – от Пушкина до Блока.

В центре писем-дневников история души, находящейся в состоянии разлада, бесконечной внутренней борьбы. То, что поэтически обозначилось в балладах, своеобразном «театре страстей», получило проверку жизнью. Поэт, утверждавший великое значение для поэзии «смешанных чувств», их борения и смятения, воссоздает в этих письмах свою жизненную драму по этим законам. Их по праву можно было бы назвать опытом психологического романа, если бы не знать их драматическую жизненную подоплеку. Именно эта реальная драма и придает эпистолярному значению человеческого документа, но вместе с тем она же демонстрирует нерасторжимое единство жизни поэта-романтика и его творчества. И в этом смысле глубоко прав был В.Г. Белинский, когда говорил, что поэзия Жуковского «вышла из жизни», он «купил ее ценою тяжких утрат и горьких страданий», нашел «на дне своего растерзанного сердца, во глубине своей груди, истомленной тайными муками...» [11. С. 190].

Так же, как и в поэзии, Жуковский обильно использует в дерптских письмах-дневниках систему курсивов, лейтмотивов, анафор. Они выполняют у него функцию своеобразных заклинаний. Таково любимейшее правило, которое он «не отдаст за миллион»: *«Всё в жизни к прекрасному средство!»*, или излюбленная поэтическая формула: *«счастливое вместе»*. Десятки раз повторяющиеся в контексте писем-дневников, эти девизы наполняются новыми оттенками.

«Самое страдание есть средство к прекрасному!» – записывает Жуковский, а «счастливое вместе», по его мнению, возможно лишь «розно». Такие на первый взгляд психологические парадоксы не случайны в общей системе эпистолярных суждений. Он делает попытку «доказать друг другу как геометрическую задачу, что для нас разлуки нет» (запись от 28 апреля 1815 г.). Но «как быть с собою? Как приучить себя находить и чувством

хорошее и лучшее в том, в чем находит его рассудок?» (запись от 2 мая 1815 г.) [12. С. 113–114].

Стремление каждую конкретную ситуацию возвести до уровня жизненной философии – отличительная черта писем, обращенных к Маше Протасовой. И вместе с тем – острота и пронзительность каждого чувства, не укладывающегося в выводимые формулы и доказываемые «геометрические задачи». «Какое горькое сиротство в этом слове – быть *розно* с тобою»; «О! это слово *розно*! Как оно раздирает душу!»; «Но часто душа разорвана в клочки» – эти и многие другие признания придают эпистолярным размышлениям особую психологическую неповторимость и подвижность. Проповедь, морализаторство теряют свою силу, оживотворяются под натиском живого чувства. Смешение чувств вносит сумятицу в тщательно подготовленную программу будущей жизни.

Дерптские письма-дневники, впитавшие идеи и образы таких программных произведений Жуковского, как «Теон и Эсхин», «Эолова арфа», явились прологом к поэтической философии романтических манифестов 1815–1824 гг. Опираясь на замечательное суждение Ю.М. Лотмана, можно сказать, что «здесь текст должен был генерировать быт» [13. С. 97].

Из эссе «Рафаэлева мадонна», опубликованного в альманахе «Полярная звезда на 1824 год» и выросшего из письма к великой княгине Александре Федоровне, в русское культурное сознание входят понятие «Гений чистой красоты» и мотив рыцарского служения Мадонне, получившие свое развитие и продолжение в творчестве Пушкина.

Философия «счастья без счастья», самоотречения, выраженная и развитая в дерптских письмах, выйдет на поверхность литературного быта в жизненной и поэтической рефлексии Ф.И. Тютчева, который впервые мог встретиться с Жуковским в доме отца 28 октября 1817 г. [13. С. 124] и о встрече с которым он вспомнит в стихотворении «17 апреля 1818». 6 (18) октября 1838 г., пережив утрату первой жены, в письме к Жуковскому он скажет: «Вы принесли с собою то, что после нее я более всего любил в мире: отечество и поэзию. Не вы ли сказали где-то: *в жизни много прекрасного и кроме счастья*. В этом слове есть целая религия, целое откровение...» [14. С. 133] (подробнее см.: [15]).

Не слышатся ли отзвуки переписки Жуковского и Маши, которая нередко происходила в пространстве одного дома, в соседних комнатах, и в которой участвовал поэт, прозванный друзьями «девушкой», «девственной душой», интонации героя романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди» Макара Девушкина?

И не стала ли формула Жуковского: «Я вас предчувствую!» из его обращения к С.А. Самойловой, которой поэт увлекся в 1819 г. и альбом которой, где эти слова звучат, был опубликован в 1901 г. [16], импульсом для стихотворения А. Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» из цикла «Стихов о Прекрасной Даме», написанного 4 июня 1901 г.?

Но дело, конечно же, не в этих рецептивных отзвуках писем Жуковского в большом пространстве русской культуры, хотя именно они обессмертили открытия поэта в сфере любовного томления и «сердечного воображения».

Важно другое: история драматической любви Жуковского, отраженная в его эпистолярной, генерированная в его текстах, входила в сферу литературного быта и определяла не столько бытовое поведение, сколько идеологию, психологию и философию русского классического романа, его национальное своеобразие.

III

«1800-е годы – время собирания сил, формирования партий, установления и пересмотра литературных репутаций. <...> Идет самоопределение новой общественно-литературной генерации» [17. С. 7] – это суждение одного из авторитетных исследователей русского литературного быта неразрывно связано с историей общества «Арзамас», душой которого по праву можно назвать Жуковского.

Именно в его эпистолярной обозначаются характерные тенденции русской смеховой культуры, на которой произрастал «Арзамас». Игровое начало, пародийный подтекст, культ слова как мирозидательной силы определяют содержание эпистолярных текстов Жуковского 1800–1810-х гг. Сначала они обозначаются в специальных заседаниях черненской «Академии любопытных нахалов», в юмористических журналах «Муратовский сморчок» «Муратовская вошь», в долбинских стихотворениях [18. С. 23–24; 19. С. 22–27; 20. С. 678–682], а затем, параллельно с этими опытами, войдут и в дружескую переписку. Письма к барону И.П. Черкасову, сестрам Протасовым, к племяннице А.П. Киреевской хранят атмосферу домашней галиматьи. Как справедливо замечает Р.В. Иезуитова, «тяга к юмору, дружеской шутке, острое восприятие комических сторон жизни отличают бытовое поведение Жуковского. Современников, близко знавших его, поражало резкое несовпадение жизненного, повседневного облика поэта с общим меланхолическим колоритом его стихов» [19. С. 23].

Нужно заметить, что это бытовое поведение именно в эпистолярной имело свое текстопорождение – и здесь уже быт генерировался в текст. Постепенно из узкого круга переписки с родными и близкими это игровое начало внедряется в письма, обращенные к литературным единомышленникам. В письме к Вяземскому от октября 1811 г. Жуковский так живописует свое знакомство с А.А. Плещеевым: «...вместе <...> пишем комедии, играем их...», а в ноябре того же года вновь сообщает: «Мы с Плещеевым пишем комедии, каких никто никогда не писал – половина по-русски, половина по-французски и все в стихах. <...> Дивись только тому, что я играю на театре, пою и танцую в балете в костюме *Жука!*» [17. С. 173–174].

Зооморфные маски Жука, кота Васьки, Бычка постепенно обретут свою жизнь в шуточных письмах Жуковского, обращенных к А.О. Смирновой-Россет, Ю.Ф. Барановой, А.Д. Блудовой, но в начале 1810-х гг. буффонада и галиматья Жуковского проявляются одновременно и в прозаических письмах, и в стихотворных, домашних, не предназначенных для публикации посланиях. Идея дружества, братства становится неотделимой частью литературного быта. Переживая глубокую личную драму, Жуковский излучает свет в своей домашней поэзии, словно заслуживая свое арзамасское

прозвище – «Светлана». Граница между его письмами и стихотворными посланиями столь тонка, почти неразличима, что бытовая записка с сообщением о визите, присылке книг, о встрече обретает стихотворную форму. Граница между поэзией и прозой, литературой и бытом практически стирается. Слово поистине обретает свою мирозидительную функцию. Не случайно Жуковский так любил «словесные игры». В его поэтическом наследии есть тексты с характерным заглавием: «Ответы на вопросы в игру, называемую *секретарь*», «Стихи, написанные для лотереи в пользу бедных». Он с удовольствием переводит четверостишия-афоризмы из «Кротких ксений» Гете и «Две загадки» из цикла «Притчи и загадки» Ф. Шиллера. Вот лишь один образец такого стихотворчества под заглавием «Бык и роза»:

Задача трудная для бедного поэта.
У розы иглы есть, рога есть у быка –
Вот сходство. Разница ж: легко любви рука
Совет из роз букет для милого предмета,
А из быков никак нельзя связать букета! [21. С. 136].

В этом поэтическом экспромте, типа буриме, Жуковский обыгрывает и свое домашнее прозвище «Бычок», и комплиментарное «розы», обращенное к кругу павловских фрейлин.

«Игра в слова» входит в мир эпистолярия на правах домашней поэзии, но вместе с тем она формирует предарзамасское наречие, столь востребованное и обогащенное в «Арзамасе».

Переписка арзамасцев – объект специального исследования. Стихотворные протоколы Жуковского – «Светланы», секретаря «Арзамаса» сконденсировали в себе «грамматику арзамасской галиматии» [22], но в пространстве эпистолярия отчетливее выступают новые черты литературного быта эпохи – процесс формирования, становления и закрепления в общественном сознании идеологии «арзамасского братства», путь от «арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей».

Эти понятия, введенные в научный оборот М.И. Гиллельсоном [23, 24], имплицитно проявляются в письмах Жуковского на самых различных уровнях. Во-первых, они прочно закрепляются в обращении «брат», в каламбурном обыгрывании арзамасских прозвищ («чурка», «чурочка» – в письмах к Д.В. Дашкову – «Чу»; «бабушка Старушка» – к С.С. Уварову – «Старушка», «Вотрушка» – к В.Л. Пушкину – «Вот»). Во-вторых, сама тема духовного сообщества становится лейтмотивной: возникают понятия «ареопаг», «союз», «братство». В-третьих, Жуковский одним из первых обращает внимание на «молодого чудотворца Пушкина» и уже в письме к Вяземскому от 19 сентября 1815 г. заявляет: «Это надежда нашей словесности», призывая «соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет» [25. С. 564–565]. Наконец, письма Жуковского к друзьям-единомышленникам и до «Арзамаса», и в период его расцвета, и после его распада стилистически выдержаны: в них живет арзамасский дух.

Вот лишь два примера. К письму Ф.Ф. Вигелю от 1839 г., написанному более чем через 20 лет после распада «Арзамаса», Жуковский прилагает рисунок журавля, изящно стоящего на одной ноге, и уже в самом начале

подробно комментирует его так: «Это журавль Филипп Филиппович, для благопристойности прозванный *Ивиковым*, а он просто православный, русский журавль» – и далее исписывает несколько страниц, живописуя «длинный его нос, которым он без жалости гвоздит лягушек, жаб и тому подобный болотный персонаж», «круглую голову», «шею, «украшенную черною косою», «одутловатое пузо», «пышный хвост», из-под которого «иногда в жидком виде посылает он свое благословение тем из жителей трясиного государства, которых не удостоит он клонуть своим длинным носом» [17. С. 101]. В другом письме от конца 1830-х гг., обращенном к дочери друга-арзамасца Д.Н. Блудова, юной Антонине Дмитриевне, он в духе арзамасской галиматши от имени кота Васьки воссоздает драматическую историю своих столкновений с «гнусной собакой Цербером» (как он переименовал блудовскую собаку Медорку (см.: [26. С. 5–8]). И в целой серии неопубликованных писем этого же времени Жуковский развивает сюжеты своей «котианы», прямо указывая на ее связь с арзамасской традицией

Мяу... мяу... у... у... ау... уау! Слышите ли вы, милостивая государыня Антонина Дмитриевна, как жалобно мяучит Васька кот! Бедный, бедный котец! Ведь ему нельзя прискакать к вам на ваше привлекательное, письменное *кис, кис!* Судьба уж предварительно произнесла свое *брысь!* <...> Но в вечеру, в девятом часу то-то будет потеха! разглажу свои усы; вымою свою кошачью морду; расправлю свой пушистый хвост, и явлюсь к вам как следует благородному коту Ваське и, согнув дугою свою спинку, шаркну бархатной своей лапкой, и припрыгнув с надлежащим мурлыканьем, произнесу поздравительные комплименты Вашему Родителю Министру Внутренних дел... [27. Л. 10].

Хотелось бы размахаться к вам на крыльях нашей любезной Галиматши, любезная девица; да нельзя: у меня сидят всякого рода образины и не дают времени с вами беседовать. Буду в понедельник в ½ 8-го часа. Возьмите в мотыльки Крылова (речь идет о «живых картинах», в том числе на сюжет стихотворения Жуковского «Мотылек и цветы». – А.Я.); он будет представлять целый кул мотыльков [27. Л. 13].

На протяжении почти 30 лет Жуковский внедрял в русскую эпистолярную культуру, в литературный быт эпохи особую философию братства, сообщества, своеобразный стиль, где неразделимы серьезное и шутивное, литературное и бытовое. «Юмор его <...> извлекается из неожиданных контрастов между сферой изображения и выражения, широкие возможности для которых открывал перифрастический стиль, позволяющий описывать пустяки “с важностью забавной”...» [17. С. 22], – справедливо замечает современный исследователь, а Вяземский еще в 1852 г., поддерживая замысел издания эпистолярия Жуковского, писал, что в этих «буффонских», «чисто арзамасских» письмах «вздорноречие Жуковского доходило до истинного красноречия, до высокой гениальности» [28. С. 407].

Раскрепощая сам эпистолярный стиль, внедряя в него черты литературного быта, Жуковский во многом содействовал рождению

дружеского послания как поэтического жанра и жизненной философии. Еще до лицейских посланий Пушкина Жуковский закрепил черты этого жанра в стихотворной переписке с будущими арзамасцами – К.Н. Батюшковым, В.Л. Пушкиным, П.А. Вяземским, А.Ф. Воейковым, А.А. Плещеевым, Д.Н. Блудовым. Стихотворные вставки в письмах Жуковского – лаборатория выработки стиля дружеских посланий и принципов «школы гармонической точности», столь важных для последующей русской словесной культуры.

И в прозаических письмах, и в стихотворных посланиях Жуковский, резвясь, играя и шутя, строго оценивает творчество своих собратьев. Так, в послании «К кн. Вяземскому» (1815) он буквально строчка за строчкой, стих за стихом разбирает его стихотворение «Вечер на Волге». «Послушай и поправь, когда тебе угодно!», «Да жаль, что в точности пошиблось на пути...», «Итак, сие словцо не может пригодиться...», «Из одинаких весь сей стих лоскутьев сшит...», «Но рифма вздорная косится и брюзжит!», «Но я б весьма желал, чтоб *своды глас забав* // Не галлицизмами окрестности *вверяли*, // А русским языком *волнам передавали*...», «Нельзя ли этот стих хоть так перемарать...» [21. С. 17–20] – все эти критические замечания органично вписываются в стихотворный контекст и вполне корреспондируют с атмосферой литературного быта «Арзамаса». Эпистолярный Жуковский (и в прозаическом, и в стихотворном своих вариантах) содействовал развитию критики с позиций «школы гармонической точности», когда не абстрактные нормы вкуса, а особая мироизжительная функция слова, критерии его органической точности определяли критическую оценку.

Но, пожалуй, особое значение для становления нового литературного быта и новой русской культуры имел этический потенциал писем Жуковского. Безмерно добрый, даже добродушный человек, не чуждый озорства в быту, он был строг, почти педантичен в отношении к вопросам нравственности в жизни и поэзии. Он всегда боролся за доброе имя человека и писателя. Достаточно вспомнить его защиту чести А.А. Воейковой, «Записку о Н.И. Тургеневе», борьбу за честное имя Вяземского, помощь и поддержку ссыльному поэту, «приемышу “Арзамаса”» – А.И. Мещевскому. Но и в отношении к самому себе он не допускал «амикошонства», поспешных оценок и резких слов. Так, в письме к П.А. Вяземскому от 12 ноября 1818 г., узнав о фривольных шутках относительно своего поведения и о их распространении в дружеском кругу, Жуковский дает достаточно резкую отповедь своему другу и собрату по «Арзамасу» и замечает: «Я не должен быть для тебя буффоном; оставим это для Арзамаса; в другие же минуты воображай меня без протоколов. Некоторого рода шутки на мой счет – хотя они и шутки – должны быть для тебя *невозможны*. <...> моя обязанность остеречь тебя, потому что и для тебя так же должно быть важно не оскорбить меня, как и для меня...» [17. С. 350].

Жуковский никогда не выступал в роли блюстителя нравственности, но, говоря о «нравственной пользе поэзии», об органической связи «слов» и «дел» поэта, своим поведением он поднял планку нравственности в литературном быте своего времени. Он действительно был «целым периодом нравственного развития нашего общества» [11. С. 241]. Эпистолярный Жуковского обнажает то, что проявилось и в его творчестве, и в его жизни.

IV

Проблема «поэт и власть» актуальна всегда, но в ситуациях дворцового переворота 1801 г. и событий 1825 г. она обрела особую остроту и свои нюансы. Проблема «поэт при дворе» не менее актуальна и остра. Литературный быт 1800–1830-х гг. невозможно представить вне этой проблематики. Виднейшие литературные деятели эпохи – от Карамзина до Пушкина – так или иначе участвовали в диалоге с властью. Различные аспекты этого диалога как «поведенческого текста» особенно зримо проявились в эпистолярии. Письма русских писателей к царственным особам – специальный сюжет, но несомненно одно: в этом сюжете эпистолярный Жуковский занимает особое место.

Во-первых, поразительно само их количество и продолжительность переписки: более 200 писем, обращенных к императору Николаю I, императрице Александре Федоровне, великим князьям Александру Николаевичу, будущему императору Александру II, Константину Николаевичу, Михаилу Николаевичу (нам удалось обнаружить три письма к нему), великой княжне Марии Николаевне, охватывают большой хронологический промежуток – от 1817 до 1852 г. Во-вторых, эти письма становились частью заранее запланированной переписки. В-третьих, они не носили официального характера, хотя среди них, особенно обращенных к императору, есть и традиционные жанры эпистолярного обращения к высшей власти – прошения и ходатайства.

И все-таки главное в них – стремление Жуковского образовать и воспитать и своих учеников – великих князей, и их родителей. Эти письма стали органической частью «политической педагогики» Жуковского. Он пытался «разрыхлить душу» царственных особ, приучить их к осознанию своей ответственности за судьбы подданных. Убежденный монархист, он участвовал в формировании модели «патерналистического самодержавия» [29. С. 285]. Наконец, в письмах о судьбе «Европейца», о русской живописи, о путешествии по Саксонской Швейцарии и посещении Дрезденской галереи, о встречах с виднейшими деятелями немецкой романтической культуры, о «горной философии», о последних днях жизни Пушкина, о событиях европейской революции 1848 г., о помощи Лермонтову и Гоголю, о творческих планах и работе над переводом «Одиссеи» он последовательно не только выступал в роли «ангела-хранителя» русской культуры, но и внедрял в сознание царского двора идею особого масштаба и миссии русского искусства.

Прежде всего, Жуковский научился говорить с царственными особами на равных. Живя почти постоянно в Зимнем дворце вблизи от своих учеников, проводя с ними и двором павловские каникулы, следя за поведением членов царской семьи, он был ее негласным нравственным ревизором. Его поведение в этом отношении было безупречным. Не случайно Николай I, устраивая нередко «головомойки» наставнику наследника за слишком активное вмешательство в дела «вольнодумцев», пригласил его руководить учением и второго своего сына – великого князя Константина Николаевича, но

Жуковский, несмотря на духовную близость к этому будущему реформатору, отказался, проявив свою независимость и внутреннюю свободу.

К сожалению, не собранные вместе и не опубликованные в полном объеме письма Жуковского к царственным особам (в советское время они вообще не печатались) мало известны не только широкому кругу читателей, но и исследователям русской культуры. А между тем они могли бы многое прояснить в истории русской монархии, в реформаторской деятельности императора Александра II и великого князя Константина Николаевича.

Достаточно подряд прочитать около 110 писем за 1828–1851 гг., адресованных наследнику, чтобы почувствовать, как целенаправленно и систематически Жуковский-Ментор духовно воспитывал своего ученика. Уже в первом известном письме от 1 января 1828 г., обращенном к десятилетнему отроку, Жуковский, рассказывая ему о деяниях Александра Невского, акцентирует системой курсивов следующую мысль: «*Пример добрых дел есть лучшее, что мы можем даровать тем, кто живет вместе с нами; память добрых дел есть лучшее, что мы можем оставить тем, кто будет жить после нас*» [1. С. 376].

И далее на протяжении 23 лет переписки он постоянно внушает будущему русскому императору идеи добра и справедливости, высокого предназначения и не менее высокой ответственности перед подданными и Россией.

...Сохраните во всякий час своей жизни свое прекрасное сердце (1. С. 378); Мы живем в такое время, в которое нужна *бодрость*, нужно твердое, ясное *знание своих обязанностей и правил*, помогающих исполнить оные, правил, извлеченных из верного знания того, что *справедливо*, и соединенных с живым стремлением к общему благу. <...> Знайте, только одно, что в наше бурное время необходимее, нежели когда-нибудь, чтобы государи своею жизнью, своим нравственным достоинством, своею справедливостию, своею чистою любовию общего блага были образцами на земле и стояли выше остального мира (1. С. 387) –

эти фрагменты из самых ранних писем Жуковского к великому князю позднее получают более развернутую конкретизацию. Но особенно интенсивно идеи «политической педагогики» будут развиты в письмах 1848 г., когда, опираясь на опыт европейской революции, очевидцем которой стал поэт, он остро поставит вопросы предназначения России, ее пути, ее защиты от заразы «пролетаризации общества» и революционных переворотов. Уроки франкфуртского парламента, «обители болтовни и сволочи», позволят Жуковскому внушать уже 30-летнему наследнику, ставшему отцом семейства, идеи реформаторства и преобразований во имя справедливости и добра.

Еще в 1825 г. Пушкин по поводу послания Жуковского «Императору Александру» прозорливо заметил: «Вот как русский поэт говорит русскому царю» [30. Т. 13. С. 179]. В диалоге поэта с властью Пушкин почувствовал именно новую позицию поэта, его новый язык, ощутил новый «поведенческий текст». Переписка Жуковского с царственными особами

подтвердила это предсказание. Не случайно Вяземский, осведомленный об этих письмах, уже после смерти Жуковского говорил: «Вообще переписка Жуковского с императрицей и государем, когда время позволит ей явиться в свет, внесет богатый вклад если не в официальные, то в личные и нравственные летописи наши. “Несть бо тайно еже не явится”. Когда придет пора этому явлению и то, что пока еще почти современно, перейдет в область исторической давности, официальный Жуковский не постыдит Жуковского-поэта» [31. Т. 7. С. 473].

Философия самостояния как внутренней свободы человека вообще, поэта в частности была выстрадана русской культурой и общественной мыслью и постепенно входила в литературный быт на правах «поведенческого текста». Думается, эпистолярный Жуковского, его письма в защиту «Европейца», о гибели Пушкина, обращенные к императору Николаю I и шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу и получившие публичную жизнь в пушкинском круге писателей, были важным звеном в становлении этой философии.

Эпистолярный Жуковского столь разнообразен и полисемантичен, что каждый персональный сюжет в нем – отражение и выражение еще одной стороны русского литературного быта. Переписка Жуковского с Каченовским 1809–1817 гг., по точному замечанию ее публикатора, «включает в себя множество любопытных и ярких штрихов для характеристики литературного быта и литературной этики XIX века» [3. С. 86–87]; переписка Жуковского с Гоголем и феномен публикации отдельных писем самими авторами – факт огромного историко-литературного значения [32, 33]; переписка с П.А. Плетневым – важный источник для изучения эдичионной практики эпохи; переписка с А.Я. Булгаковым воссоздает историю почтового дела в России; огромный массив неопубликованных писем Жуковского к своему душеприказчику Р.Р. Родионову (всего около 180 от 1841–1852 гг.) [34] – интересный материал частного быта, издательской этики 1840-х гг. И подобные примеры можно продолжать...

Думается, что шесть томов писем, готовящихся к печати в рамках проекта издания Полного собрания сочинений и писем В.А. Жуковского, таят много «открытий чудных» как для характеристики самого их автора, так и для освещения различных сторон литературного быта его эпохи. Разнообразные формы этого эпистолярия: дружеские послания, любовные письма, письма-дневники, письма-трактаты, письма-прошения, история их бытования в самых различных вариантах (для публичного чтения, публикации в периодических изданиях, для домашнего обращения) – свидетельство неразрывной и органической связи «быта» и «текста».

Литература

1. Жуковский В. Сочинения: в 6 т. С приложением писем, биографии / под ред. П.А. Ефремова. 7-е изд. СПб., 1878. Т. 6.
2. Модзалевский Б.Л. Из переписки Жуковского // *Sertum bibliologicum* в честь президента русского библиологического общества проф. А.И. Малеина. Пг., 1922.
3. Иезуитова Р.В. Из неизданной переписки В.А. Жуковского // *Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год*. Л., 1981.
4. Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М., 2006.

5. Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.
6. Канунова Ф.З. Русская история в чтении и исследованиях В.А. Жуковского // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Томск, 1978. Ч. 1.
7. Батюшков К.Н. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 2.
8. Русский архив. 1900. № 3.
9. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
10. Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904.
11. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 14 т. М., 1955. Т. 7.
12. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 2004. Т. 13.
13. Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века // Из истории русской культуры. Т. 4: XVIII – начало XIX века. М., 1966.
14. Тютчев Ф.И. Сочинения: в 2 т. М., 1980. Т. 2.
15. Янушкевич А.С. Философия счастья в творчестве В.А. Жуковского и Ф.И. Тютчева // Ф.И. Тютчев: Грани поэтического мира. Новосибирск, 2007.
16. Кульман Н.К. Рукописи В.А. Жуковского, хранящиеся в библиотеке гр. А.А. и А.А. Бобринских // Изв. 2-го Отд. Имп. АН. СПб., 1900. Т. 5, кн. 4.
17. Арзамас: сб.: в 2 кн. М., 1994. Кн. 1.
18. Соловьев Н.В. История одной жизни: А.А. Воейкова – «Светлана». Пг., 1915. Т. 1.
19. Пезуитова Р.В. Шутливые жанры в поэзии Жуковского и Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1982. Т. 10.
20. Лебедева О.Б. Долбинские стихотворения // Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 1.
21. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 2000. Т. 2.
22. Ронинсон О.А. О «грамматике» арзамасской «галиматъи»: Функционирование русской литературы в разные исторические периоды // Учен. зап. Тарт. ун-та. 1988. Вып. 822: Труды по русской и славянской филологии.
23. Гиллельсон М.И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974.
24. Гиллельсон М.И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977.
25. Жуковский В.А. Собрание сочинений: в 4. М.; Л., 1960. Т. 4.
26. Памяти П.Н. Сакулина: сб. ст. М., 1931.
27. Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 72. Оп. 1. № 13.
28. Плетнев П.А. Сочинения и переписка: в 3 т. СПб., 1885. Т. 3.
29. Киселева Л.Н. Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. Вып. 2. М., 1997.
30. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 17 т. М., 1937–1949.
31. Вяземский П.А. Полное собрание сочинений: в 12 т. СПб., 1878–1896.
32. Канунова Ф.З. Проблема поэтики и эстетики в переписке Гоголя и Жуковского... // Гоголь и время. Томск, 2005.
33. Кузнецова Н.В. Жуковский и Гоголь: Диалог об искусстве в переписке писателей: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2006.
34. Янушкевич А. Письма В.А. Жуковского к Р.Р. Родионову: Опыт предварительного описания // Con amore: Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой. М., 2010.